

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

На правах рукописи

ЗАПОЛЬСКАЯ Наталья Николаевна

“ОБЩИЙ” СЛАВЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

(XVII-XIX вв.):

ТИПОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Специальность 10. 02. 20 - сравнительно-историческое,

типологическое и сопоставительное языкознание

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук

Москва – 2003

Работа выполнена в Отделе типологии и сравнительного языкознания
Института славяноведения Российской Академии Наук

Официальные оппоненты: -доктор филологических наук
А. М. Молдован

- доктор филологических наук,
профессор
С. П. Лопушанская

-доктор филологических наук,
профессор
Т.И. Вендина

Ведущая организация: -кафедра общего и русского языкознания
Института русского языка им. А. С. Пушкина

Защита диссертации состоится "22" апреля 2003года
на заседании диссертационного совета Д 002.248.02 при Институте
славяноведения РАН
(адрес: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32-а, корп. "В")

С диссертацией можно ознакомиться в Институте славяноведения РАН

Автореферат разослан "20" марта 2003 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук



Н.М. Куренная

Диссертационная работа посвящена исследованию представлений об “общем” славянском литературном языке в конфессиональной и секулярной культуре.

Традиционно концепции “общего” славянского литературного языка рассматриваются в рамках двух разделов языкознания – истории славянских литературных языков и интерлингвистики. В истории славянских литературных языков основное внимание уделяется изучению церковнославянского языка как изначально “общего” литургического и литературного языка славян, получившего разную судьбу в культурно-языковых пространствах *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina*, а также изучению национальных славянских литературных языков, исследования моделей “общего” славянского литературного языка, призванного стать основой нового языкового объединения славян, занимают периферийное положение. В интерлингвистике попытки создания нового “общего” славянского языка предстают как проекты искусственных апостериорных языков, противопоставленные проектам априорных языков, что определяет оппозицию эмпирического и логического направлений лингвопроектирования. Несмотря на “удвоенное” внимание, изучение опытов “общего” славянского литературного языка сводится главным образом к атомарному анализу элементов, в рамках которых мыслился тот или иной вариант нового “общего” языка славян (см.: работы, представляющие “русский” язык Юрия Крижанича как искусственно созданный “общий” славянский литературный язык, вобравший в себя церковнославянские, русские и хорватские элементы: Маркевич 1876, Перволюф 1888, Badalić 1958, Golub 1986, Мечковская 1974, 2001, Дуличенко 1995, 2002).

Между тем представляется возможным и необходимым провести интегративный анализ, позволяющий рассмотреть в одном контексте представления о новом “общем” славянском литературном языке, представления о церковнославянском языке как традиционном “общем” славянском литературном языке и представления о национальных славянских литературных языках. Проведение такого комплексного исследования возможно в рамках *типологии лингви-*

стической рефлексии, понимаемой как “упорядоченное отображение языкового материала” (Б. Гаспаров). Рассмотрение представлений об “общем” славянском литературном языке как реализации универсального стремления человека придать литературно-языковому опыту упорядоченный и рациональный характер, скоординировать свой личный литературно-языковой опыт с опытом других людей определяет **актуальность** данной диссертационной работы, поскольку позволяет включить ее в современную научную парадигму, доминантой которой стал антропоцентризм.

Цель исследования состоит в обосновании идеи, согласно которой представления о традиционном и новом “общем” славянском литературном языке являются собой определенные *типы лингвистической рефлексии*.

Поставленная цель обусловила **задачи** исследования:

1. построить типологическую модель лингвистической рефлексии,
2. установить языковые зоны, манифестирующие разные типы лингвистической рефлексии,
3. рассмотреть представления о традиционном и новом “общем” славянском литературном языке как разные типы лингвистической рефлексии, реализованные в пространстве и во времени культуры: а) в разных пространствах конфессиональной культуры - Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, “пограничье”, б) в разном времени культуры - в конфессиональной и секулярной культуре,
4. выделить языковые параметры, репрезентирующие рефлексии над традиционным и новым “общим” славянским литературным языком, определить механизмы “порождения” и структурно-функциональный статус “русского” языка Юрия Крижанича и “взаимославянского” языка Матии Маяра,
5. рассмотреть динамику лингвистической рефлексии в рамках процесса культурно-языкового реплицирования.

Материалом для исследования послужили грамматические трактаты и подвергшиеся книжной справе библейские тексты XVII-нач. XVIII в., отразившие лингвистическую рефлексии разных типов.

Основное внимание в работе уделено анализу лингвистической рефлексии Юрия Крижанича (XVII в.) и Матии Маяра (XIX в.), являвшихся знаковыми фигурами исторических эпох, актуализировавших идею “общего” славянского литературного языка. Соответственно, основными источниками стали грамматические трактаты - “Грама̀тично изказа̀nje ob rùskom jeziku” 1666 г. Юрия Крижанича (изд. Бодянского, М., 1859) и “Узае́мни правопис славја́нски, то је Uzajemna Slovnica ali Mluvnica Slavjanska” 1865 г. Матии Маяра. В роли сопутствующих источников выступили авторитетные метатексты и тексты: “Грама̀тики Славѣ́нскихъ правописе́ Гвнѣта́га” Мелетия Смотрицкого 1619 г., “Грама̀тика” 1648 г., “Грама̀тика” 1721, Острожская Библия 1580 г., Библия 1663 г., Новый Завет Епифания Славинецкого (Biblia Slavica, 2002), Библия 1713 - 1720 гг. (ГИМ, Барсов, 8).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Типологическая модель лингвистической рефлексии может быть представлена как иерархия типов, различающихся в зависимости:

- от предмета рефлексии и доминирующей идеи:

<i>структурный тип</i> (рефлексия над нормами литературного языка)	
<i>формальный тип</i> (идея <i>правильности</i> языка)	<i>семантический тип</i> (идея <i>понятности</i> языка),
<i>функциональный тип</i> (рефлексия над сферой распространения литературного языка)	
<i>дивергентный тип</i> (идея “своего” языка)	<i>конвергентный тип</i> (идея “общего” языка)

- от цели рефлексии

<i>телеологический тип</i>	
<i>корректирующий тип</i> (идея “исправления” языка)	<i>креативный тип</i> (идея “создания” языка)

2. Разные типы структурной рефлексии получают реализацию в разных языковых зонах, задающих разный характер проблем. Так, *формальная* рефлексия, актуализирующая идею *правильности* языка, является рефлексией над *средствами выражения*, т.е. решается проблема *формальной избыточности и недостаточности* языка. *Семантическая* рефлексия, актуализирующая идею *понятности* языка, предстает как рефлексия над *грамматическими категориями и средствами выражения*, т.е. доминирует проблема *формально-семантической избыточности и недостаточности* языка, которая может дополняться проблемой *формальной избыточности и недостаточности* языка. Поскольку бытие во времени и пространстве определяет необходимость литературно-языковых контактов, рефлексия может осложняться решением проблемы *трансляции / элиминации* культурно доминирующего языка.

3. Рефлексия над “общим” славянским литературным языком в конфессиональной и секулярной культуре являлась знаком тех исторических эпох, содержанием которых был *духовный или этнический универсализм*, основанный на памяти о едином культурно-языковом прошлом славян, на осмыслении культурно-языкового феномена “славянское христианство” (Толстой). Так, в XVII веке доминантой культурно-языкового пространства Slavia Orthodoxa стала концепция *греко-славянского православного универсализма*, которая задавала установку на поддержание *правильности* церковнославянского языка как “*общего*” *литургического и литературного языка православных славян*, т.е. рефлексия носила *формальный, конвергентный, корректирующий* характер. В культурно-языковом пространстве Slavia Latina доминировала концепция *христианского универсализма*, которая мотивировала установку на “исправление” церковнославянского языка в целях достижения его *правильности и понятности* как “*общего*” *славянского литургического и литературного языка*: поскольку церковнославянский продолжал быть единственным литургическим и литературным языком в “греко-славянском” мире и маргинальным литургическим и литературным языком в “латино-славянском” мире, он мог стать инструментом возвраще-

ния славян к единству по вере, т.е. рефлексия носила *формально-семантический, конвергентный, корректирующий* характер. В XIX веке концепция *этнического универсализма* обусловила необходимость создания *нового "общего" понятного славянского литературного языка* для облегчения славянской коммуникации, т.е. имела место *семантическая, конвергентная, креативная рефлексия*.

4. Разные типы лингвистической рефлексии, явленные в конфессиональной и секулярной культуре, получали воплощение в разных языковых параметрах, зафиксированных метатекстами и правленными текстами. Так, в XVII-нач. XVIII века грамматика Мелетия Смотрицкого и ее московские редакции, а также книжная справа демонстрировали *формальную* рефлексия над церковнославянским языком, которая реализовалась в *"зоне средств выражения"*: *правильность* "славянского" языка достигалась посредством дифференциации грамматических синонимов и снятия грамматических омонимов. Грамматика Юрия Крижанича и проведенная им "справа" псалмов представляли *формально-семантическую* рефлексия над церковнославянским языком, которая воплощалась в *"зоне грамматических категорий и средств выражения"*: *понятность* и *правильность* "русского" языка достигались посредством выбора грамматической семантики, общей для "русского" и хорватского языков, а также посредством выбора "русских" форм, снимавших грамматическую синонимию и омонимию. Хорватские элементы допускались Крижаничем только при условии невозможности достижения "прозрачности" языка средствами самого "русского" языка. Различие лингвистических установок, характерных для "греко-славянского" и "латино-славянского" пространств, определяло отношение к культурно доминирующему греческому языку: *правильность* "славянского" языка требовала трансляции авторитетного греческого языка, тогда как *правильность* и *понятность* "русского" языка предполагали его элиминацию. В XIX веке грамматика Матти Маяра представляла направленную на создание нового "общего" славянского литературного языка *семантическую* рефлексия, которая реализовалась в *"зоне грамматических категорий и*

средств выражения”: *понятность* “взаимославянского” языка достигалась посредством выбора грамматической семантики и средств выражения, общих для церковнославянского (старославянского) языка и национальных славянских литературных языков - русского, сербохорватского, чешского и польского языков. “Руский” язык Крижанича и “взаимославянский” язык Маяра демонстрировали разные механизмы “порождения” и структурно-функциональный статус “общего” славянского литературного языка. “Руский” язык Крижанича явился результатом *исpravления* церковнославянского языка (русского извода), т.е. представлял собой вариант *традиционного “общего” славянского литературного языка*, а отнюдь не искусственно созданный новый “общий” славянский литературный язык. “Взаимославянский” язык Маяра, наоборот, был *создан* как *новый “общий” литературный язык* славян в результате синтеза разных славянских литературных языков, т.е. являл собой пример гибридного литературного языка.

5. Лингвистическая рефлексия является важной составляющей процесса *культурно-языкового реплицирования*, т.е. процесса активного реагирования лингвистических личностей на рефлексивные опыты друг друга. В зависимости от исторических условий, позволяющих или не позволяющих “встретиться” разным лингвистическим воззрениям во времени и пространстве, можно говорить о *реальном и потенциальном реплицировании*. Лингвистический рефлексивный опыт, представленный как культурно-языковая реплика, требует исследования в диалогизованном контексте, задающем ретроспективу и перспективу мыслей о языке: мотивирующий рефлексивный опыт < данный рефлексивный опыт < мотивированный рефлексивный опыт. Подобную “цепочку” культурно-языкового реплицирования составили грамматические сочинения Смотрицкого, Крижанича и Маяра, что позволило выявить историческую связь рефлексии над традиционным и новым “общим” славянским литературным языком: “Грамматіки Славѣнскіа правнаноє Євнѣта҃ма” Мелетія Смотрицкого 1619 г. < (реальная реплика) “Грамматично изказанје об рѣском језику” Юрия Крижанича 1666 г. < (потенциальная

реплика) “Узаємні правопіс славјанскі, то је Uzajemna Slovnica ali Mluvnica Slavjanska” Матиї Маяра 1865 г.. *Корректирующая* лингвистическая рефлексия Крижанича и Смотрицкого была противопоставлена *креативной* рефлексии Маяра, тогда как *семантический* характер объединял рефлексии Крижанича и Маяра и противопоставлял ее *формальной* рефлексии Смотрицкого.

Научная новизна работы состоит в том, что предложена типологическая модель лингвистической рефлексии, установлены языковые зоны, репрезентирующие разные типы рефлексии, осуществлено исследование представлений о традиционном и новом “общем” славянском литературном языке как разных типов лингвистической рефлексии, явленных в конфессиональной и секулярной культуре, рассмотрена динамика лингвистической рефлексии в рамках процесса культурно-языкового реплицирования, выявлены механизмы “порождения” и структурно-функциональный статус “русского” языка Юрия Крижанича и “взаимнославянского” языка Матиї Маяра.

Теоретическая значимость исследования определяется избранным *типологическим подходом* к изучению лингвистической рефлексии. Проведенное типологическое исследование рефлексии над “общим” славянским литературным языком подтвердило мысль о том, что не новые факты, а “обновленная проблематизация” приводит к тому, что “хорошо изученное явление... представлявшееся частным и второстепенным имеет принципиальное значение для науки” (Бахтин).

Практическая ценность исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы в общих и специальных курсах по истории и типологии славянских литературных языков.

Апробацию основные положения диссертации получили в публикациях и докладах на научных конференциях: XI Международный съезд славистов (Братислава, 1993), XII Международный съезд славистов (Краков, 1998), международные конференции - “Славяне: единство и многообразие” (Минск, 1990), “Славянские языки в

зеркале неславянского окружения” (Москва, 1996), “Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии” (Москва, 1996), “Plurilinguismo letterario in Ucraina, Polonia e Russia tra XVI e XVIII secolo” (Рим, 1999), “Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo” (Милан, 1999), “Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: миграция слов, выражений, идей” (Будапешт, 2000), “Славянский мир: общность и многообразие” (Рязань, 2000), Кирилло-Мефодиевские чтения (Москва, 2000), “Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст” (Москва, 2001), “Аванесовские чтения” (Москва, 2002), “Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского” (Москва, 2002), “Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы” (Москва, 2002), университетские конференции - Виноградовские чтения (Москва, МГУ, 2000, 2001, 2002), Ломоносовские чтения (Москва, МГУ, 2001).

Диссертация обсуждена на заседании Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников и библиографии.

Содержание работы

Во **Введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются цели и задачи, научная новизна и практическая ценность исследования, задается круг источников.

В **первой главе** “*Типология славянской лингвистической рефлексии*” предложена типологическая модель лингвистической рефлексии и представлена ее верификация на материале славянской лингвистической рефлексии.

Тип культуры задает тип словесной культуры, который может быть описан через систему иерархически организованных типологических характеристик: тип императивных текстов (авторитетные тексты / авторские тексты), тип книжно-языковой деятельности (репродуцирование / продуцирование), тип литературного языка (структурный тип: язык, противопоставленный разговорной речи /

язык, ориентированный на разговорную речь, функциональный тип: язык с доминирующей функцией / полифункциональный язык), тип освоения литературного языка (мнемонический / операциональный). Рефлексия над литературным языком также может быть рассмотрена в типологическом аспекте и введена в типологическую модель словесной культуры. Типы лингвистической рефлексии следует различать в зависимости от предмета рефлексии и доминирующей идеи, в зависимости от цели рефлексии:

структурный тип (рефлексия над нормами языка): *формальный тип* (идея *правильности* языка) / *семантический тип* (идея *понятности* языка),

функциональный тип (рефлексия над сферами распространения языка): *дивергентный тип* (идея *“своего”* языка) / *конвергентный тип* (идея *“общего”* языка),

телеологический тип: *корректирующий тип* (идея *“исправления”* языка) / *креативный тип* (идея *“создания”* языка).

Данные теоретические положения могут быть верифицированы на славянском материале.

Христианская культура, как вариант *конфессиональной культуры*, была основана на Библии, т.е. на императивных авторитетных текстах, возникших как результат человеческого опыта Бога, как результат *“общения”* Бога с людьми, способными свидетельствовать об истинности Слова Бога. Принципиально авторитетный характер императивных текстов определил принципиальную репродуктивность книжно-языковой деятельности, заключающейся в передаче во времени и пространстве изначально заданного, неизменного Слова, изреченного Богом и истолкованного избранными людьми. Освоение библейских текстов носило мнемонический характер и происходило в процессе литургической практики, позволявшей всем верующим предстать Слову Бога и стремиться созидать жизнь по Слову Бога. Соответственно, императивными языками христианской культуры являлись языки Библии, доминирующей функцией которых была литургическая функция. Литургический опыт обусловил *“христианизацию”* (Топоров) языка, т.е. наложение на буквальные смыслы смыслов сак-

ральных, что позволило сопоставлять изреченное Слово Бога и сочиненное слово человека, пытавшегося рассмотреть свою повседневную жизнь в библейском контексте. В свою очередь, “христианизированный” язык становился способом познания и богодухновенной истины, и причинно-следственных отношений тварного мира. Регулятивное положение языка в структуре познания мотивировало рефлексию, актуализировавшую идею правильности сакральных языков, которая поддерживалась книжной справой императивных текстов и экзегетическими метатекстами - грамматиками и словарями, задававшими синтетический и аналитический способы языковой кодификации.

Одним из сакральных языков явился *церковнославянский язык* (старославянский), созданный Кириллом и Мефодием в IX веке как язык славянского богослужения, определивший единое славянское культурно-языковое пространство. Появление вместе с общим славянским литературным языком “третьего культурного макроареала в Европе”, соседствовавшего “с романо-германским ареалом, где господствовала латынь” и “греко-византийским ареалом, где абсолютно преобладал греческий язык”, задавало точку отсчета истории славянского самосознания, представлявшего собой “иерархию признаков”, в которой “главенствующим оказывался признак христианства, а затем шел признак общеплеменной - славянства” (Толстой). В свою очередь, особенность славянского самосознания, сочетавшего признаки “христианства” и “славянства”, определила перспективу рефлексии над “общим” славянским литературным языком как знаком конфессионального или этнического славянского единства.

Исходными доминантами славянской лингвистической рефлексии стали идеи *понятности* и *правильности* языка, поскольку цель перевода богослужения на славянский язык заключалась, с одной стороны, в достижении *понятности* Слова Бога для новообращенной паствы, а с другой стороны, в достижении *правильности*, присущей культурно доминирующему греческому языку.

Последовавший в XI веке разрыв единого славянского культурно-языкового пространства, приведший к образованию автономных культурно-языковых пространств - *Slavia Orthodoxa* и *Slavia*

Latina, мотивировал разницу в предметах и ценностных акцентах явленной в этих славянских ареалах лингвистической рефлексии.

В культурно-языковом пространстве Slavia Orthodoxa единственным литургическим и литературным языком оставался *церковнославянский*, который воспринимался в зависимости от культурно-языковой ситуации, актуализировавшей либо установку на духовный универсализм, либо установку на духовный изоляционизм, как *“общий” литургический и литературный язык православного славянства*, либо как *“свой” литургический и литературный язык* в рамках локальной православной традиции.

В культурно-языковом пространстве Slavia Latina основным литургическим и литературным языком стала латынь, а *церковнославянский язык*, как изначально *“общий” литургический и литературный язык*, последовательно использовался лишь хорватами-глаголитами. С XV века в связи с ростом национального самосознания, секуляризацией просвещения и распространением реформаторского движения в “латинском” мире стали возникать как оппозиция латыни “простые” литературные языки, в том числе *“простые” славянские литературные (но не литургические) языки* - чешский, польский, хорватский, ориентированные в той или иной степени на разговорный субстрат, что мотивировало их *понятность* для людей “простых”, “непросвещенных”.

Наряду с конфессионально разделенными пространствами Slavia Orthodoxa и Slavia Latina в конце XIII века возникло славянское пространство конфессионального “пограничья”: Юго-Западная Русь, вошедшая сначала в состав Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, реализовала традиции и новации православия, католицизма и протестантизма. Славянским языковым выражением духовного “пограничья” явился сложившийся к XVI веку параллелизм функциональных литературно-языковых оппозиций: оппозиция латынь/ польский язык обусловила оппозицию *церковнославянский язык / “проста мова”*.

Лингвистическая рефлексия, явленная во всех культурно-языковых пространствах Славии, подчинялась в XV-XVII веках гу-

манистической филологической традиции, согласно которой формально-семантическое “достоинство” языка (*dignitas*) связывалось с его филологической “обработанностью”, а функциональная ценность - с позицией в функционально-генетической иерархии языков. В зависимости от конкретной культурно-языковой ситуации “грамматическое искусство” либо распространялось на *церковнославянский язык для поддержания его исходной правильности*, либо переносилось с классических языков на “простые” славянские литературные языки с целью установления их правильности. Результаты филологической работы фиксировались в императивных текстах, подвергшихся книжной справе, и в грамматиках, представлявших собой своеобразные конкурирующие проекты исчерпывающего упорядочивания литературно-языкового материала.

Особого напряжения славянская лингвистическая рефлексия достигла в XVII веке, содержанием которого явился *духовный универсализм*, получивший разное смысловое наполнение и разную лингвистическую реализацию в разных славянских культурно-языковых пространствах.

В культурно-языковом “пограничье”, в сложных поликонфессиональных условиях духовной задачей ревнителей православия было сохранение традиций *православного греко-славянского универсализма*, официально закрепленного фактом юрисдикции константинопольского патриарха. Необходимость защиты православной веры и *церковнославянского языка как “общего” литургического и литературного языка православных славян*, а также необходимость духовного просвещения и готовности к полемике определила необходимость издания правильных библейских и богослужебных книг. Установка на греко-славянское духовное единение мотивировала книжную справу, основным принципом которой было следование библейских и богослужебных книг греческим образцам как источникам *правильности* на уровне текста и на уровне языка. Систематическая книжная справа в Юго-Западной Руси началась трудами князя Константина Острожского и его сподвижников, которые издали полную славянскую Библию (1580 г.). В основу Острожской

Библии был положен список Геннадиевской Библии (1499 г.), который исправлялся по греческим изданиям. Поскольку при подготовке Острожской Библии не была проведена последовательная правка, к тому же не было критического отношения к источникам, епископ львовский Геден Балабан замыслил издать исправленную Библию, однако результатом издательской деятельности стрятинской типографии явились лишь авторитетные богослужебные книги. Впоследствии стрятинская типография стала основой типографии Киево-Печерской Лавры, в которой был издан основной корпус богослужебных книг, ориентированных на греческие новопечатные издания, о чем свидетельствуют предисловия к этим книгам. Опыт синтетической кодификации церковнославянского языка, явленный в процессе книжной sprawy, соотносился с опытом аналитической кодификации, представленным в грамматике Мелетия Смотрицкого (*“Грамматіки Славѣнскіа правнаго Сѣнтагма”*, 1619 г.), демонстрировавшей *правильность* церковнославянского языка “по подобию” правильности греческого языка.

Культурно-языковое “пограничье” было актуально и для реализации разрабатываемой Римом идеи *христианского универсализма*, выразившейся в Брестской унии 1596 г.. Следствием заключения унии явилась рефлексия над *церковнославянским языком* как *“общим” славянским литургическим и литературным языком*, который использовался не только православными, но и униатами.

Таким образом, культурно-языковое “пограничье” задавало разные направления лингвистической рефлексии, значимые и для пространства *Slavia Orthodoxa*, и для пространства *Slavia Latina*.

Центром культурно-языкового ареала *Slavia Orthodoxa* являлась в XVI-XVII веках Московская Русь, сохранившая “чистоту” веры и устойчивое бытование *церковнославянского языка* как *“общего” литургического и литературного языка православного славянства*. Ученая деятельность по исправлению церковных книг, основанная на соединении богословского ведения и грамматического знания, стала привычной для Московской Руси с XVI века в результате книжной sprawy, проведенной Максимом Греком. Официальный

статус книжной sprawy определило постановление Стоглавого собора 1551 г., которое вменяло в обязанность собраниям духовенства наблюдение за *правильностью* церковных книг. В XVII веке в Московской Руси книжная справа представляла собой последовательное движение от воспроизведения славянской традиции до буквального следования греческим образцам, что было обусловлено движением от концепции духовного изоляционизма к концепции *духовного универсализма*.

Так, на первом этапе книжной sprawy, начавшемся после Смутного времени на московском Печатном дворе при активной поддержке патриарха Филарета (1619–1634 гг.) и продолжавшемся при патриархе Иосафе I (1634–1640 гг.), понимание правильности текста и языка богослужебных книг было мотивировано концепцией духовного изоляционизма и связывалось со славянской традицией, как сохранившей исконную “чистоту” греческой традиции. Соответственно, в качестве правильных источников рассматривались русские рукописи, которые противопоставлялись новым греческим изданиям и исправленным по ним юго-западнорусским книгам. Проводя фрагментарную языковую правку, книжники подтверждали свою компетентность знанием книжных исправлений Максима Грека и грамматического трактата “*О ѡсмихъ частѣхъ слова*”.

Начавшаяся в 40-х годах XVII века реставрация концепции греко-славянского православного универсализма определила новый этап книжной sprawy в Московской Руси, реализовавшийся при патриархе Иосифе (1642–1652 гг.). Осмысление Московского государства как центра истинной православной духовности актуализировало необходимость усиления контроля за “чистотой” веры и систематизации духовного образования. Poleмические и просветительские задачи мотивировали необходимость издания в Московской Руси полной Библии как “первейшего источника всего богословия”. Целью библейской sprawy должен был стать поиск “согласия” между славянской и греческой традициями в целях достижения правильности текста и языка, при этом в роли посредника начала восприниматься юго-западнорусская книжность, а участ-

никами книжной sprawy предполагались юго-западнорусские книжники. Понимание необходимости последовательной языковой нормализации обусловило в 1648 г. издание в Московской Руси авторитетной юго-западнорусской грамматики Мелетия Смотрицкого (“Грамматика”, 1648), представлявшей, в отличие от трактата “*О ѡсмѣхъ частѣхъ слѡва*”, развернутую аналитическую кодификацию церковнославянского языка, ориентированного на греческий язык. Языковые исправления, внесенные в грамматику Смотрицкого справщиками Михаилом Роговым и Иваном Наседкой, отражали опыт московской sprawy, а метаязыковые исправления вводили грамматику в устойчивую православную метаязыковую традицию.

Развитием представлений о правильности текста и языка как об ориентации на греческие образцы явился третий этап книжной sprawy, начавшийся при патриархе Никоне (1652–1658 гг.). Доминирование идеи “восприятия” на русского царя и русскую церковь византийского теократического наследия требовало единого греко-славянского обрядового пространства. Унификация обрядов по греческому образцу изменила установку книжной sprawy: на Соборе 1654 г. было принято решение “*достойно и праведно исправити против старыхъ и греческихъ*” книг. Декларированная книжная справа по греческим источникам осуществлялась либо посредством выбора греческого образца, либо посредством выбора юго-западнорусского текста, исправленного по греческому образцу. Правильность языковых изменений, явленных в новопечатных московских книгах, обосновывалась ссылками на грамматику Смотрицкого, в равной степени авторитетную как для юго-западнорусских книжников, так и для московских книжников: на грамматику ссылались Епифаний Славинецкий, Евфимий Чудовский, Симеон Полоцкий, составивший для Собора 1666 г. доклад-обоснование проведенных языковых исправлений.

Усиление грекофильских настроений, приведшее к утверждению концепции греко-славянского универсализма, проявилось на четвертом этапе книжной sprawy при патриархе Иоакиме (1674–1690 гг.). Правильность библейских и богослужебных книг связыва-

лась в этот период уже с непосредственной ориентацией на греческие источники: на Соборе 1674 г. было принято решение переводить “*библію всю вновъ, вѣтхій и новыи завѣтъ*”. Работа началась трудами Епифания Славинецкого и избранной им “библейской комиссии”, в состав которой входили Евфимий Чудовский и Никифор Симеонов. Однако смерть Епифания не позволила закончить библейские исправления: к печати был подготовлен только Новый Завет. Языковые исправления представляли собой усиление трансляции греческого языка в церковнославянский, поскольку московские книжники стремились писать “по славенски” так, как писали святые отцы “*єллинским диалектом*”.

В XVIII веке продолжением и одновременно коррекцией иоакимовской sprawy явилась библейская справа, осуществлявшаяся по указу Петра I от 14 ноября 1712 г., который предписывал книжникам “*соглашать и править во главах и стихах и речах противу Греческия Библии грамматическим чином*”. Петровские справщики, в числе которых были Софроний Лихуд, Феофилакт Лопатинский, Федор Поликарпов, как и их предшественники, понимали правильность текста и языка как точную передачу греческого оригинала, однако они уже выступали за освобождение церковнославянского языка от “неприродных” элементов, нарушавших славянскую грамматическую семантику. Результаты книжной sprawy, проходившей с 1713 г. по 1720 г., были учтены в новом исправленном издании грамматики Смотрицкого (“*Грамматика*”, 1721 г.), подготовленном Федором Поликарповым. Библейский текст, явившейся результатом петровской sprawy, после незначительной переработки лег в основу Елизаветинской Библии 1751 г., завершившей библейскую справа в традиции церковнославянского языка.

В культурно-языковом пространстве *Slavia Latina* реализовалась концепция *христианского универсализма*, при этом в системе моделируемого Римом конфессионального подчинения греческого мира латинскому важнейшим этапом являлось возвращение славян к единству по вере. Завершение “глобальной Унии”, фрагментом которой стала Брестская уния, требовало приведенных к единообразию славянских церковных книг, написанных на *правильном и по-*

нятном церковнославянском языке как “общем” литургическом и литературном языке славян. В этой связи по поручению Конгрегации пропаганды святой веры в Риме в 30-40-х годах XVII века была предпринята книжная справа хорватских глаголических богослужбных книг, осуществлявшаяся под руководством хорватского монаха Рафаеля Леваковича и при поддержке епископа холмского Мефодия Терлецкого. Проведя некоторое время в Юго-Западной Руси, в среде униатов, Левакович изучил русскую редакцию церковнославянского языка и выбрал в качестве источников книжной sprawy юго-западнорусские богослужбные книги. Текст изданных Леваковичем книг - “Миссала римскаго ва ѣзик словенскій” 1631 г. и “Часослова римскаго славинскимъ языкомъ” 1648 г. - был утвержден папой Иннокентием X и лег в основу изданий часослова (1688 г.) и миссала (1706 г.) Ивана Пастрича. В 30-х годах XVIII века папа Бенедикт XIV поручил глаголяшу Матвею Караману еще раз исправить язык миссала по образцу русской редакции церковнославянского языка, для того, чтобы “проложить этим путь унии в среду славянских схизматиков”.

Другой путь единения по вере посредством единения по языку избрал иезуитский миссионер, также хорват по национальности, Юрий Крижанич, пыгавшийся “исправить” церковнославянский язык русского извода в целях достижения его *правильности и понятности* всем славянам. Осуществляя свою миссионерскую деятельность непосредственно в Московской Руси, Юрий Крижанич написал лингвистические трактаты - “Объяснѣнїе въводно о писмѣ Словѣнскомъ” (1660-1661 гг.) и “Грамаѣтно изказанїе оъ рѣскомъ језикѣ” (1666 г.), явившиеся культурно-языковой репликой на грамматику Смотрицкого 1619 г.. Стремление Крижанича скоординировать систему кодифицированных форм и императивные конфессиональные тексты обусловило справа псалмов, инкорпорированную в грамматику, при этом подвергшиеся исправлению псалмы были тождественны псалтырным текстам Острожской Библии.

Таким образом, явленная в XVII веке концепция *православно-греко-славянского универсализма* определила установку на поддер-

жание *правильности* церковнославянского как “*общего*” *литургического и литературного языка православных славян*, а концепция *христианского универсализма* обусловила установку на поддержание *правильности и понятности* церковнославянского как изначально “*общего*” *славянского литургического и литературного языка*, т.е. рефлексия носила *формальный или формально-семантический, конвергентный, корректирующий* характер.

Переход от конфессиональной культуры к *секулярной* обусловил смену типа словесной культуры, т.е. переход от статичного императива авторитетных библейских текстов к динамичному императиву авторских текстов, от литургически маркированных *правильных* литературных языков к полифункциональным *понятным* литературным языкам, освоение которых носит операциональный характер и происходит в процессе формального обучения. Изменения в структуре познания, заключавшиеся в том, что язык, оставаясь способом познания, стал и объектом познания, привели к тому, что каждый язык, имевший бытие и историю, обретал самооценку, нуждаясь в ее “раскрытии” посредством лингвистической рефлексии. Принципиальная установка на самодостаточность и собственную ценность каждого языка заменяла функциональную иерархию языков их функциональным соположением во времени и пространстве. В свою очередь, предустановленное функциональное соположение языков давало возможность сравнивать языки, т.е. мыслить их внутренние структуры и нормы во взаимоотношении. Лингвистическая рефлексия, направленная либо на один литературный язык, либо на группу литературных языков, либо на моделирование некоего “общего” литературного языка, фиксировалась в метатекстах, представлявших собой научно-дидактические или научно-дискуссионные лингвистические обзоры.

Славия в рамках секулярной культуры в определенной мере сохраняла традиции размежевания “греко-славянского” и “латино-славянского” культурно-языковых ареалов: если для пространства *Slavia Orthodoxa* была характерна “дивергентная тенденция” развития литературных языков, то в пространстве *Slavia Latina* действова-

ла “конвергентная тенденция” (Толстой), каждая из которых поддерживалась лингвистическими концепциями.

Пересечение разных направлений славянской лингвистической рефлексии представил XIX век, явивший концепцию *этнического универсализма*, славянской реализацией которого стал *панславизм*, актуализировавший в славянской культурной памяти этнический императив самосознания. В эту историческую эпоху представления о едином человечестве сменялись представлениями о множественности “культурно-исторических типов”, а всемирная история сменялась историями отдельного и независимого развития данных типов. При этом в ранг “культурно-исторического типа” могло быть возведено лишь такое объединение народов, которое обладало “отдельным языком или группой языков, довольно близких между собой, для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий” (Данилевский). Соответственно, явленные в этот период лингвистические концепции предлагали либо возведение одного из славянских литературных языков в ранг “общего”, либо “взаимное” овладение всеми славянскими литературными языками для достижения “литературной взаимности”, либо создание *нового “общего” славянского литературного языка*.

Сторонники теории возвышения одного из языков до роли “общего” (словацкие ученые К. Кузmani, Л. Штур, М. Гаттала, словенский ученый Ф. Подгорник, русские ученые В. Ламанский, А. Добрянский) рассматривали “общий” славянский литературный язык в контексте общеевропейской языковой ситуации, что приводило к распространению опыта создания новоевропейских литературных языков, на основе избранных диалектов, на создание “общего” славянского литературного языка, на основе избранного культурно доминирующего славянского литературного языка. В роли “общего” славянского литературного языка призваны были выступить либо исторически мотивированный церковнославянский язык, либо русский литературный язык, строгость норм которого определялась последовательностью кодификации, а функционирование было защищено государственной властью.

Сторонники теории литературно-языковой “взаимности” (словацкий ученый Я. Коллар, чешский публицист В. Ригер) считали невозможным выбор одного литературного языка в качестве “общего”, поскольку такой выбор игнорировал историческую закономерность конфессиональных и политических различий славян. Путь к единению следовало искать в “гармонии всех частей”, достигаемой “взаимным” изучением славянских языков.

Сторонники теории искусственного образования *нового “общего” славянского литературного языка* (словацкий ученый Ян Геркель и словенский ученый Матия Маяр) исходили из специфики славянской языковой ситуации, маркером которой являлось единое литературно-языковое прошлое - “своеобразный гений славянского языка”. Путь создания нового “общего” славянского литературного языка отражал лингвистическую рефлексию данной эпохи, сутью которой было “раскрытие” посредством сравнительно-исторического анализа самоценности каждого конкретного языка. Само сближение-сравнение языков определяло их структурную “прозрачность”, позволяя дифференцировать общие и локальные, стандартные и нестандартные языковые элементы, в которых прочитывалось структурное прошлое и прогнозировалось структурное будущее. Явленная в этот период лингвистическая рефлексия, носившая *семантический, конвергентный, креативный* характер, не только “раскрывала” формально-семантические сходства языков, находившихся в “братском времени и пространстве”, но и “развивала” эти сходства, порождая идею “перехода” от прерывной языковой совокупности к непрерывной, т.е. идею “перехода” от реально функционировавших литературных славянских языков к моделируемому “общему” языку, *понятному* всем славянам.

В XX веке своеобразным культурно-языковым ответом на концепции этнического единения славян явилась концепция суперэтнического единения. В концепции евразийства представления о “культурно-исторических типах” сменились представлениями о “культурно-исторических зонах”, т.е. “совокупности этносов, связанных единой исторической судьбой” (Гумилев). Знаком

“культурно-исторической зоны”, характеризующейся общностью традиций, являлся культурно доминирующий язык, в роли которого был призван выступить русский язык.

Построение типологической модели лингвистической рефлексии позволило рассмотреть славянскую лингвистическую рефлексю в типологическом аспекте и представить размышления об *“общем” славянском литературном языке* как определенные рефлексивные типы, реализованные в пространстве и времени культуры.

Во второй главе *“Общий” славянский литературный язык в конфессиональной культуре (Slavia Orthodoxa): проблема правильности языка*” представлено исследование лингвистической рефлексии, мотивированной концепцией *православного универсализма*: рефлексии над *церковнославянским языком* как *“общим” литургическим и литературным языком православных славян*.

Рефлексию “греко-славянского” мира над церковнославянским языком, который традиционно именовался “сла/овенским”, определила грамматика Мелетия Смотрицкого - *“Грамматіки Славѣнскіа правліное Г҃н҃та҃га”* 1619 г. (далее- ГС), манифестировавшая идею *“чистости” “славенского” языка*. Размышления Смотрицкого о *правильности* церковнославянского языка, зафиксированные в комментариях (в рубриках *“оу҃вѣщѣніе”*, *“измѣтїе”*, *“ѣтероклі҃та”*), актуализировали проблему *влияния* греческого языка на *“славенский”*, а также проблему *формальной избыточности* (*“изобѣліа”*) и *недостаточности* (*“лишѣніа”*) *“славенского” языка*.

Отношение Смотрицкого к культурно доминирующему греческому языку наиболее последовательно выразилось в интерпретации синтаксических грецизмов, поскольку именно синтаксис строился по модели греческого языка. Считая греческий язык источником правильности *“славенского” языка*, Смотрицкий следовал традиции, идущей от Иоанна экзарха Болгарского, требовавшего при переводе *“отъ є҃лнньска ѡз҃ька... въ словѣньскѣ... разоумѣ вѣюсти”*, т.е. не нарушать грамматическую семантику *“славенского” языка*. В соответствии с этим положением Смотрицкий разделял синтаксические грецизмы по степени их семантической адекватности и предла-

гал либо принять синтаксический грецизм, либо устранить, либо допустить вариативность грецизмов и славянских синтаксических единиц. В результате проведенной Смотрицким своеобразной “селекции” грецизмов приемлемыми для “славянского” языка оказались конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. мн. и все причастные конструкции: “(Грѣческагѡ сочинѣнїа ѡбразомъ) Многажды такова Прилагателнаа... множественнѣ во Средней родѣ бѣ³ Существователна^х оупотребляема ѡбращѣтса” (л. 197), “Сый/сбщаа/сбщеа/сбщїа, и прочїихъ всѣхъ оупотребленїе, по Грекъвѣ сочинѣнїю Славянѡ” свойственно ѣсть: ѡкѡ, Бгъ сый міра/ Сцъ щедрѡт.” (226-226 об.). Недопустимой в “славянском” языке была признана конструкция с относительными местоимениями, согласованными с определяемым словом главной части сложного предложения не только по роду и числу, но и по падежу, что нарушало славянскую модель управления глагола: “Есть Аттикѡ” свойство/ Славенскѡ ѡзыкѡ всакѡ страннѡ/ Возносїтелномѡ со Предидѡщимъ ѣто же падежи сочинатиса, напоследѡдѡщїй глѡ/ ѡмже правнѡ быти емѡ достоаше/ нї едїнѡ възгладѡ ѡмѡщемѡ: ѡкѡ, ποῦ εἰσὶ τὰ ἐλεῆ σου τὰ ἀρχαῖα, κύριε, ἃ ᾤσοσας τῷ Δαυὶδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. Славенскн превѣдено сїце: Гдѣ сѡтъ мѡтї твоѡ дрѣвнѡа Гдѡ/ ѡмже клѡса Дѣдѡ во ѡстиннѣ твоѡей... по Славенскагѡ ѡзыка свойствѡ превѣденнѡ быти достоаше, Гдѣ сѡтъ мѡтї твоѡ дрѣвнѡа Гдѡ/ ѡмже клѡса есн Дѣдѡ войстиннѣ твоѡей” (л.204 об.-205). При выражении целевых значений, по мнению Смотрицкого, могла допускаться вариативность синтаксических средств: конструкция “еже+инфинитив”, ориентированная на греческую модель, могла допускать в качестве вариантов конструкцию с независимым инфинитивом или глагольно-личную конструкцию “да+конъюнктив”, при условии несовпадения субъектов действия в главной и придаточной частях сложного предложения: “Многажды Неопредѣленнѡ полагаѣтса вѡбѡстѡ Поѡнїителнагѡ/ прїемѡ Сѡбѡзѡ/ ѣже, ѡнї/ воѡеже: ѡкѡ, Лицеже Гдне натворѡщїа злаа, ѣже потрѣвїтнї ѡземѡа пѡмѡть нїхъ Иногдаже и рѡрѡшаѣтса в Поѡнїителѡ: ѡкѡ, держѡхѡ егѡ ѣже не ѡтїтнї ѡнїнїхъ: Грѣческомѡ во сїце сбщѡ, κατήχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν: Мы превѡдїмѡ, держѡхѡ

его да небы ѿшелъ ѿни... Бгъ ѣсть двѣствѣай во васъ и ѣже хотѣти/ и ѣже дѣлати... Многѡшваче чистѣе ве³/ ѣже, положено было вы, сице...Бгъ ѣстъ двѣствѣай вова^с и хотѣти/ и двѣствовати.” (л. 220, 221).

Представления Смотрицкого о *формальной правильности* “славенского” языка проявились в оценке грамматических синонимов и омонимов, широко представленных в именном словоизменении. *Формальная избыточность* признавалась Смотрицким нормой “славенского” языка при условии дифференциации грамматических синонимов. Так, для существительных мужского рода были кодифицированы наряду со стандартными нестандартные флексии, получавшие фонетическую, словообразовательную или лексическую мотивацию:

Р. ед.: -А, -А // -Б (“Всѣ на/ нь, кончащася склонѣнїа сегѡ именѡ/ чистѣе родителный ѣдинствѣнный сходити творѡт на/ е, нежели на/ ѡ: ѡкв, корень/ корене” л. 72 об.), - Ҫ (“дѡмѡ” л. 52 об.),

П. ед.: Ѣ // - Ҫ (“дѡмѡ” л. 52 об.),

Д. ед.: -Ҫ, Ю // -Ҫ, Ю + -ОВИ, -БВИ (“изрѡдѣнїе ѣдинослѡжна растворѡтисѡ мощи... сынѡ/ или сѡнови, врачѡ/ или врачѣви” л. 50, 72),

И. мн.: (т) -И // -Б (“Римлѡне” л. 53 об.), -БИ + ОВБ (“изрѡдѣнїе ѣдинослѡжна растворѡтисѡ мощи... сѡны/ или сѡнове” л. 50), (т) -ІБ + -Б (“пѡстырїе/ или пѡстыре” л. 63 об.), -Б (“ходотѡе” л. 65 об.), -ІБ + -Б + -БВБ (“именѡ/ ѣдинослѡжна изрѡдѣнїе, растворѣма быти ѡверѣѡемъ... врачїе, врачѣ, или врачѣве” л. 72, 72 об.).

Формальная недостаточность подлежала устранению собственно грамматическим или орфографическим способом, имеющим греческий источник (использование букв Ѡ, ѡ для различения форм ед. и мн. числа). Так, снятие омонимии по падежу, явленной у существительных мужского рода в ряду (т) В. мн. = Т. мн.(-Ы), достигалось посредством введения в грамматическую позицию Т. мн. вариантной флексии -АМИ: “Клеврѣтами и клеврѣты” (л. 43). Для устранения омонимии по числу и падежу, представленной у существительных мужского рода в ряду И. +В. для неодуш. ед.= Р. мн. (нулевая флексия), Смотрицкий вводил в грамматическую позицию Р. мн. нестандартные флексии -ѡВЪ/ -БВЪ (для однослож-

ных слов) и **-ѢИ** (для многосложных слов с исходом основы на t') и/или использовал орфографические средства дифференциации форм - дублетные буквы и надстрочные знаки: "снѣ // сынѣ илн сынѣвъ, врачѣ // врачѣ илн врачѣвъ, пастырь // пастырьѢи илн пастырь, пророкъ // прорѡкъ" (л. 50 об., 72 об., 63 об., 47). Однако заданные Смотрицким ограничения в употреблении нестандартных вариантных формантов не позволили последовательно провести снятие омонимии в данном ряду: "клеверѣтъ, воинѣ, ходотай, мравій, знѡй, крагѣй, люבודѣй" (л. 43-69). Нерешенной в грамматике Смотрицкого осталась проблема омонимии по числу и падежу у имен существительных мужского рода с исходом на мягкий согласный и шипящий, а также с исходом на -Ц, явленная в ряду **Р. + В.** для одуш. ед., = **В. мн (-Ѧ)**: "пастырьѦ, млтѣжѦ, свѣдѣтелѦ, ходотѣѦ, іерѣѦ, мравіѦ, знѡѦ, крагѣѦ, люבודѣѦ, ѡтца // = ѡтцы, и ѡтца" (л. 63 об. - 69). Сложность дифференциации грамматических синонимов и непоследовательность устранения омонимов в грамматике Смотрицкого определили дальнейшую перспективу рефлексии над "славенским" языком.

При издании грамматики Смотрицкого в Москве в 1648 г. справщики Михаил Рогов и Иван Наседка пытались скорректировать соотношение стандартных и нестандартных флексий и расширить зону снятия омонимии. Так, в грамматической позиции **И. мн.** стандартная флексия **-И**, представленная Смотрицким только у имен существительных мужского рода с исходом на твердый согласный, была распространена и на имена с исходом на мягкий согласный и шипящий за счет нестандартной флексии **-Ѣ**: (1619 г.) **-ІѢ + -Ѣ** ("пастыріѣ илн пастыреѣ"), **-Ѣ** ("ходотѣѣ"), **-ІѢ + -Ѣ + -ѢѢѢ** ("врачіѣ, врачѣ, илн врачѣѣ") → (1648 г.) **-ІѢ + -И** ("пастыріѣ илн пастыри"), **-И** ("ходотѣи"), **-ІѢ + -И + -ѢѢѢ** ("врачіѣ, врачѣи, илн врачѣѣ"). Московские книжники сняли омонимию по числу и падежу у имен мужского рода на мягкий согласный и шипящий, явленную в ряду **Р. + В.** для одуш. ед., = **В. мн (-Ѧ)**, посредством замены в грамматической позиции **В. мн.** флексии **-Ѧ** на флексию **-И**, а у имен с основой на -Ц посредством выбора варианта с флек-

сией -Ы: (1619 г.) -А, (-Ы) (“пастырѣ”, “отцы, и отцѣ”) → (1648 г.) -И(Ы) (“пастыри”, “отцы”).

Федор Поликарпов, объясняя необходимость переиздания грамматики Смотрицкого, в черновом варианте предисловия утверждал, что “славенскій нашъ діалектъ ... разширѣтся и разнищѣется” (л. 7). Проявлением данной установки явилось расширение зоны грамматической синонимии либо посредством распространения нестандартных флексий на все лексические модели (флексия -ѢѢ в И. мн. у всех односложных имен: 1619 г., 1648 г. - “дѣми”, “знѣе”/”знѣи” → 1721 г. “дѣми, дѣмовѣ”, “знѣе, знѣевѣ”), либо снятием ограничений с нестандартных флексий (флексии ѡВЪ/ѢВЪ теряют прикрепленность к односложным именам в Р. мн.: 1619 г., 1648 г. “Клеврѣтъ”, “ходо/атѣи” → 1721 г. “Клеврѣтъ, Клеврѣтовѣ, ходѣтѣи, ходѣтѣевѣ”), либо объединением разных стандартных флексий, представленных в грамматиках 1619 г. и 1648 г. (флексии -А, -И в В. мн. м.: → 1619 г. “пастырѣ”, 1648 г. “пастыри” → 1721 г. “пастырѣ, пастыри”).

Лингвистическая рефлексия, зафиксированная грамматиками церковнославянского языка, реализовалась и в книжной справе, осуществлявшейся в Московской Руси.

Так, Московская Библия 1663 г., явившаяся результатом никоновской справы, была напечатана по Острожской Библии 1580 г. “незмѣнно”, кроме орфографии и “тавственныхъ погрѣшеній”. “Погрѣшения” на синтаксическом уровне “порождали” конструкции, нарушавшие грамматическую семантику церковнославянского языка. Так, никоновские справщики, следуя рекомендациям грамматики 1648 г., которая совпадала в данном пункте с грамматикой 1619 г., заменяли конструкции с относительными местоимениями, согласованными с определяемым словом в роде, числе и падеже, на конструкции с относительными местоимениями, падеж которых зависел от модели управления глагола: пс. 88:50 “гдѣсѣтъ мѣ ти твоѣ древнаѣ ги, ѣже клѣмѣ дѣдѣ въ истинѣ твоѣи” → “гдѣ сѣтъ мѣ ти твоѣ дрѣвнѣи ги, нѣже клѣмѣ дѣдѣ во истинѣ твоѣи”. Морфологические “погрѣшения” являли омонимичные формы. Так, в грамматической позиции В. мн. у имен муж-

Явленная в “латино-славянском” мире рефлексия над церковнославянским языком, направленная на поддержание его *правильности и понятности*, получила выражение в трактатах Юрия Крижанича - “*Обяснѣнїе вѣводно о писмѣ Словѣнском*” 1661 г. (далее - Об.) и “*Грамаѣтно изказанїе оу рѣскомъ Језикѣ*” 1666 г. (далее - ГИ).

Предметом размышлений Крижанича являлся церковнославянский язык (русского извода), понимаемый им как “*общий*” *литургический и литературный славянский язык*: “*наш кнѣжннѣ Језик*” (Об. III), “*Језикъ нашъ сѣбѣ, кобѣмъ мѣ кнѣжнѣ пишемъ и божнѣ сачженъ отъ правльаѣмъ*” (ГИ, I). Исходя из идеи идентификации славянских локальных языков как вариантов одного славянского языка, Крижанич считал необходимым называть “общий” славянский литературный язык “*русским*”, а не “*словѣнским*” (сло/авенским): “*сѣбѣ Језикъ кобѣмъ кнѣжнѣ пишемъ... Рѣскнѣ Кнѣжннѣ*” (ГИ, II). Генетическое главенство “русского” языка, т.е. рассмотрение его в качестве источника славянских языков не требовало, по мнению Крижанича, доказательств, поскольку являлось фактом классического исторического знания: “*наистарнѣ, и осталннѣ всѣмъ зачѣлно Јестъ львдство и Јме Рѣско: и сѣ Једнѣно давннѣмъ Грѣцскимъ и Римскимъ писателемъ Јестъ вѣло пѣзнано*” (ГИ, I). Генетическая значимость “русского” языка поддерживалась его функциональной значимостью, поскольку автохтонная авторитетная государственная власть в Московской Руси определяла ситуацию, при которой все государственные дела оформлялись на “своем” языке: “*домашннѣмъ Језикомъ виваѣѣтъ отъправльана*” (ГИ, IV). Исторически мотивированное генетическое и функциональное превосходство “русского” языка поддерживалось, по мнению Крижанича, собственно лингвистическими характеристиками, указывающими на близость именно “русского” разговорного языка к общему славянскому литературному языку: “*сѣбѣ кнѣжннѣ Језикъ вноѣго подобннѣннѣ Јестъ днѣшннѣ Рѣскоѣ общннѣноу, неже коѣѣннѣвѣдъ Словѣнскоѣ отминѣ*” (ГИ, II). Предустановленное функционально-генетическое “достоинство” “русского” языка предполагало приобретение формально-семантического “достоинства” посредством проведения филологической “обработки”: “*НиЈеденъ Јазикъ не вѣаѣше*

изкони вѣка, и тѣтъже на своѣм почѣткѣ совершѣн. Ј николиже непостанет љзник сѣб санчен, стрѣжен, и къ разумному коѣму писаню и говореню пригоден, доколигод не истяжитсе” (Об, 1). Соответственно, свою задачу Крижанич видел лишь в том, чтобы способствовать “изправльѣнѣ, изтежанѣ, и совершѣнѣ љзика”, ибо только “изправльѣнѣ љзика” ведет “ко ѳразумльѣнѣ всаких благоговѣјних отѣских дѣм, и дѣши спасајущ совѣтов” (ГИ, V). “Грамматично радѣнѣ” Крижанича заключалось в критике “русского” языка и сопоставлении его с другими славянскими языками, прежде всего с хорватским и польским, которые, по мнению Крижанича, являли полюсные пути развития: хорватский язык сохранял “староје зачалноје и чистоје изриканѣ”, а в польском языке, наоборот, “половина ричѣъ јест от њних разниѣтих љзиков примѣшена” (ГИ, III). Лингвистическая рефлексия Крижанича, зафиксированная в развернутых комментариях (в рубрике “обличѣнѣ”), актуализировала проблему *влияния* греческого языка на книжный “русский” язык, а также проблему *формально-семантической* и *формальной избыточности* (“по избѣткѣ”) и *недостаточности* (“неизразѣмни”) книжного “русского” языка.

Поскольку книжный “русский” язык возник как “превѣдничскѣ”, т.е. в результате перевода греческих богослужбных книг, основную причину его “непригодности” к “разумному” использованию Крижанич видел в *формально-семантической грецизации*: “Грѣки... вѣс состав и обличѣе нашего љзика по обзорѣ на своѣ љзик изо дна извратѣли и претворѣли” (ГИ, IV). Устраняя “безѣанство по обзорѣ на грѣцскѣ љзик”, Крижанич в первую очередь проводил замены синтаксических грецизмов:

-конструкции с относительными местоимениями с полным согласованием → конструкции с относительными местоимениями с неполным согласованием:” А ѳ Грѣков и въ прѣгѣвѣх занѣсно љме всегда се згаджаѣт сь прошѣстним. А ѳ нас и ѳ Латѣнцев токмо въ числѣ, и въ плѣменѣ, сь прошѣстним љменом, а въ прѣгѣвѣ сь послѣдѣѣщеѣ ричѣноѣ мораѣт бит згѣдно ”,

-конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. мн. → конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. ед.: "...во вножинном числѣ ѿ Греков вногѡ кратъ стоѣтъ, а ѿ насъ ни отнѣѡже нестѡнетъ приѡивно ꙗже въ Обстоѡного мѣсто",

-конструкции с причастиями в полупредикативной и предикативной функциях → глагольно-личные конструкции: "Грѣки на извитъ гѡсто ѡживѡѡтъ Медольѣнѣ и мѡло да не всѡка четвѣрта рѣчъ ѿ нѣихъ jest Медольѣнѣ. Потомѡж и наши предки во вногахъ, хощъ непристѡѡниихъ мѣстехъ, кладѡтъ Медольѣнѣ. Нѣстъ въ смѣрти, помнинаѡѡ тѣеѣ. → Пѣстъ того въ смѣрти, ѡже ви те помѡиналъ",

-инфинитивные конструкции ("еже+инфинитив") → глагольно-личные конструкции: "когда се знаменѡѡтъ причина, дѡаради коѡе се что чинитъ, Грѣки кладѡтъ Неокончѡлникъ прѡстъ, съ привѣржкомъ тѡѡ. Намъ пакъ въ сицевѣихъ мѣстехъ право стоѣтъ... спѡенѡѡ Дѡ. Приѡѡша, еже слѡшати слѡво Бѡжѣе. → Приѡѡше, да вѣхъ слѡшали Бѡжѣе слѡво" (163, 173).

С позиции Крижанича, как носителя хорватского языка, самодостаточная *формально-семантическая* основа книжного "русского" языка требовала незначительных исправлений, поскольку объем реализации и состав членов основных грамматических категорий совпадал в книжном "русском" и в хорватском языках. Так, грамматическая категория одушевленности // неодушевленности реализовалась в книжном "русском" языке только у имен мужского рода в **В. ед.**, тогда как в некнижном "русском" языке происходило недопустимое, с точки зрения Крижанича, расширение объема реализации за счет **В. мн.**. Данная формально-семантическая избыточность трактовалась Крижаничем как попытка снять омонимию **И. мн.** = **В. мн.**: "А Русѡани и Лѣхи творѣтъ крознѡикъ вножинниѡ на **И** и не мѡгутъ разлѡчитъ крознѡика отъ **И**менѡика: и вногѡ кратъ ѡмъ постѡѡѡетъ неѡѡѡвно разлѡмѡнѣ: и по нѡже никѡгда морѡѡѡтъ ѡживѡѡтъ **И**зерника въмѡсто крознѡика" (11).

В свою очередь, грамматическая категория лица в книжном "русском" языке охватывала весь состав спрягаемых форм, тогда как в некнижном "русском" языке вне действия данной категории ока-

зывались формы прошедшего времени изъявительного наклонения и формы сослагательного наклонения, т.е. имела место формально-семантическая недостаточность: “опъщицѣнѣ речини **ЈЕССЕМ**, и въ ѿщемъ Рускомъ языкѣ неговѣ чинитъ бесѣда, або въ мѣсто нѣеже вездѣ непотрѣбно изрикаѣтъ именники, **Ја, ти, он...** Русјани вездѣ велѣтъ **БИ, Ја би Јмѣл, Ти би Јмѣл, Он би Јмѣл, Мѣ би Јмѣли, Вѣ би Јмѣли, Онѣ би Јмѣли. А Хервати въ пѣрвихъ особахъ непрѣмѣнно велѣтъ **БИХ** и **БИМО**, а въ остѣлнихъ изрикаѣтъ двоѣко, **Вѣ вистѣ Јмѣли, или Вѣ би Јмѣли, Онѣ вѣхѣ Јмѣли или Онѣ би Јмѣли**” (78, 161). В книжном “русском” языке определенную формально-семантическую избыточность являла грамматическая категория числа, реализовавшая оппозицию “единственное число // двойственное число / множественное число”. С точки зрения Крижанича, в родном языке которого была представлена оппозиция “единственное число // множественное число”, формы двойственного числа следовало либо устранить, либо стилистически маркировать: “Двоѣчно число никаковижеже користи, нѣт липотѣ языкѣ непривавляѣтъ: него лише чинитъ сметѣнѣе, и вѣного неѣдобѣе. Гречески писатѣльни мало го ѣживаѣтъ, опрѣч нѣжи наипѣче въ писеннихъ складаннихъ” (123).**

По мнению Крижанича, исходную правильность и понятность книжного “русского” языка затмевали “несовершенные” средства выражения, порождавшие формальную избыточность и формальную недостаточность. Для достижения формальной “прозрачности” книжного “русского” языка следовало устранить и грамматические синонимы, и грамматические омонимы, наиболее широко представленные в именном словоизменении. Так, например, у существительных мужского рода в формально нагруженных позициях Р. ед., Д. ед., П. ед., И. мн. Крижанич снимал все нестандартные флексии, давая объяснения своим решениям:

Р. ед.: -А, -Б, -С → -А (“Ѣзерникъ сѣѣ изхѣдитъ на А, а не Ѣнако. Сѣтожъ обѣнчѣѣ: камене... дѣмѣ ... Право речѣ: камена...дѣма” 7),

П. ед.: -ѣ / -И + -С → -ѣ (“При Братѣ, При Крѣльѣ” 4),

Д. ед.: -С, -ОВИ / ’-БВИ → -С (“Ѡв прѣгнѣ Јмаѣтъ двѣ кончинѣ: Једнѣ на С, а дрѣгѣ на ОВИ или на БВИ... сѣнѣ, сѣнови, врѣчѣ, врѣчеви...

Али Хервѣти николиж неѣживајѣт тојѣ кончини на ВИ: и за кмѣтскѣ јѣ почитајѣт” 9, 10),

И. мн. м.: -И, -ОВЕ/-ЕВЕ, -ИЕ, -Е → -И (“А по избѣткѣ, и по припрѣстом изрѣкѣ, двојескладни јменникѣ преминѣајѣтсе на ОВЕ и на ЕВЕ: Синове, Врачеве... А јније кончини, на ЈЕ и на Е, јесѣт згола скѣзни и мѣрзки, Пастѣрје. А Јошце гѣре Свидѣтеле... Право се велѣт Пастѣри, Свидѣтели” 10-11).

Формальная недостаточность, по мнѣнию Крижанича, подлежала устранѣнию только грамматическим способом, поскольку орфографический способ воспринимался как результат влияния греческого языка: “...устѣавнѣша правѣло, да въ јединичних падежѣх пишѣтсе е да о, а во множинних Е да ш... и то вѣѣаше излишна печѣл. Авѣкѣм ѣ Греков очивѣста јѣст потрѣба и прѣчина... рѣзлично ко јѣст провлѣченје гласа, ѣно кратко, ѣво долого” (Об, 12). В соответствии с этим, например, снятие омонимии по числу и падежу в ряду **И. + В.** для неодуш. ед. = **Р. мн.** осуществлялось только посредством флексий ОВ/-ЕВ : “Вса јмена первого и второго прѣтворѣа, липо и правѣлно се творѣт на ОВ, и на ЕВ: Синѣв, Врачев” (13). Используя грамматический способ различения омонимов, Крижанич тщательно выбирал подходящие форманты, оценивая их генетические и структурные характеристики. Так, снятие омонимии по падежу **И. мн. = В. мн. = Т. мн.** (с позиции хорватского языка -И, -И /І/) у имен мужского рода с твердой основой происходило за счет выбора в грамматической позиции **Т. мн.** флексии -МИ, поддержанной хорватским языком и противопоставленной флексии -АМИ как “полонизму”, а также за счет возможного употребления в грамматической позиции **В. мн.** флексии -Е, транслируемой из хорватского языка: **Т. мн. - МИ** (“Овогѣ прѣгиѣва кончина јѣст МИ: со Братми, со Крѣльми” 15), **В. мн. -Е** (“Еѣѣ прѣгиѣв по Хервѣтскѣ изхѣдит на Е... Ј сице липо се разлѣѣѣѣт крозинѣк ѣт јменника” 11). Равным образом, Крижанич предлагал использовать флексию -Е и у имен мужского рода с основой на мягкий согласный, шипящий и -Ц для устранения “пересекающегося” омонимичного ряда **Р. + В.** для одуш. ед. = **В. мн.:** -А → -И или -Е (“мѣрзко и вѣдѣно се чѣѣт въ никѣих мѣстѣх постављѣно

ЈА, или А: царја. Все поправи сице, царн, царе” 12). Однако такая рекомендация носила исключительный характер, поскольку Крижанич использовал формы хорватского языка только при невозможности достичь правильности и понятности средствами “русского” языка: “негодѣтсе писатељу сандѣт Херватского окончанѣя вѣдущ оно далеко отминно от Руского доброго но ѡживат јест Руского обичного окончанѣя ако не вѣдет сказно” (147).

Крижанич последовательно проводил критику “русского” языка в контексте межъязыковых сопоставлений, контрастно демонстрируя “порчу” “русского” языка реальным влиянием польского языка и “разумность” возможного влияния хорватского языка:

Т. мн., П. мн.: -АМИ, -АХ (“Нимци и Жидови јесѣт ѡ Лѣхов наш језик мѣрзко сказани, а Билорѡсјани сѣт того скаженѣя вного завзели: и на сем мѣстѣ чинѣт нестерпен прѣврат, жеже ѡв прѣгнѣ творѣт на АМИ, а придивник на АХ: Братами, краљами... При братах, краљах ... Тѡж чинѣт и въ јнѣх претворѣх: кт, Рѣчами, Летами” 16),

В. мн.: -Є (Єѣ прѣгнѣ по Херватску изхѡдит на Є... Ј сице липо се разлѣчѣет крозник от јменника. А Русјани и Лѣхи творѣт сѣѣ прѣгнѣ на І и не мѡгут разлѣчит крозника от јменника” 11).

Осуществленное Крижаничем “граматично радѣнје” было направлено на активную реализацию в библейских текстах, язык которых, по его мнению, был далек от совершенства: “До сих во врѣмен во светом вѡжѣем писмѣ и всаких превѡдех наших, въ никѡих мѣстѣх вного јест рѣчѣѣ, а мало разѡма” (ГИ, V). Стремление непосредственно скоординировать систему предложенных норм книжного “русского” языка и императивные конфессиональные тексты обусловило своеобразную “книжную справу”, представленную в грамматике. Подвергшиеся исправлению фрагменты библейских текстов, вероятно, были взяты Крижаничем из Острожской Библии, которую Крижанич упоминал в своих сочинениях: “Бѣлорѡсци при тискованьи Бибельни... много прѣмѣнѣнѣѣ учинишиѣ” (Об, 3-4).

В процессе проведенной Крижаничем книжной справы, как и в процессе собственно “грамматической работы”, элиминации подвергались *грецизмы* и “свой” языковые элементы, порождавшие

формально-семантическую и формальную избыточность и недостаточность.

Сферу основных претензий Крижанича к библейским текстам определяли синтаксические конструкции, обусловленные влиянием греческого языка:

-конструкции с относительными местоимениями с полным согласованием → конструкции с относительными местоимениями с неполным согласованием: пс. 77:11 “Завиша чдѣс его, нхже Јави им” (ОБ: “завыша блгодѣннн его нчюдѣс его, нхъже јавн имъ”) → “Чдѣс : Јаже ьим јест Јавиал”,

-конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. мн. → конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. ед.: пс. 8:7 “Вса покорил еси под нозѣ его” (ОБ: “вса покорилъеси по^Анозѣего”) → “Все јеси ѡпокорил под јего ногн”,

-причастные конструкции → глагольно-личные конструкции: пс. 7:11 “От Бога спасајущаго правнја сѣрцем” (ОБ: “Ѡба спсајущаго правым ср^Ацемъ”) → “От Бога, нже спасајет правнх сѣрцем,”

-инфинитивные конструкции → глагольно-личные конструкции: пс. 33:17 “Лице господње на творѣща злаја, еже потребити от земля памјат нх” (ОБ: “лице же гнѣ на творѣщаа злаа, еже потребити Ѡ земля памать нхъ”) → “Лице пак господње на творѣщих зло, да потривит от землн памет ьнх” (163, 173, 182).

Формально-семантическую избыточность в библейских текстах являли формы двойственного числа, необходимость устранения которых Крижанич демонстрировал на материале имен существительных со значением парности, составляющих мотивационную базу двойственного числа: пс. 7:4 “Вь рѣкѣ моејѣ” (ОБ: “вѣ рѣкѣ моею”) → “Вь рѣкахъ моихъ”, пс. 23:4 “Не повинен рѣкама” (ОБ: “не повинен рѣкама”) → “Не повинен рѣками” (123).

Формальная избыточность, представленная в библейских текстах, проявлялась в употреблении наряду со стандартными нестандартных языковых элементов, подлежащих устранению:

И. мн. -И, -~~ОВЕ~~/~~БВЕ~~, -~~ІВ~~, -~~Б~~ → -И пс. 103:11 “звѣрѣ” (ОБ: “звѣрѣ”) → “звѣри”, пс. 26:12 “свидѣтеле” (ОБ: “свѣдѣтеле”) → “свидѣтели”, пс. 4:3 “Сѣнове” (ОБ: “Сѣве”) → “Сѣни” (10).

Особое внимание Крижанич уделял снятию *формальной недостаточности*, особенно тем случаям, которые позволяли использовать средства хорватского языка: Р. + В. для одуш. ед. = В. мн.: -~~А~~ → -И или -~~Б~~ пс. 67:15 “църја” (ОБ: “црѣ”) → “цари или царе”, пс. 117:9 “на кнѣзѣ” (ОБ: “на кнѣз”) → “на кнези или на кнезе”, пс. 50:21 “телица” (ОБ: “телица”) → “телицы или телице” (12).

Проведенное исследование позволило заключить, что предметом рефлексии Крижанича был церковнославянский язык (русского извода) - Рѣскиъ Кнѣжнѣиъ језикъ, который он исправлял с целью поддержания *правильности и понятности*. Лингвистическая рефлексия Крижанича, маркирующая лингвистическую рефлексия “латино-славянского” мира, носила *формально-семантический, конвергентный, корректирующий* характер и реализовалась в “*зоне грамматических категорий и средств выражения*”: *правильность и понятность* книжного “русского” языка достигались посредством устранения грамматической синонимии и омонимии, а также выбором грамматической семантики, общей для “русского” и хорватского языков. Идея формально-семантической самодостаточности книжного “русского” языка мотивировала снятие формально-семантической грецизации. Полученные результаты позволяют отказаться от традиционного мнения, согласно которому Крижанич “создал искусственный общеславянский язык”, а его грамматика была “грамматикой придуманного языка”.

В четвертой главе “*Общий славянский литературный язык в секулярной культуре: проблема понятности языка*” представлено исследование лингвистической рефлексии, мотивированной концепцией *этнического универсализма*: рефлексии над церковнославянским и национальными славянскими литературными языками в целях создания *нового “общего” славянского литературного языка*.

Этнически мотивированная лингвистическая рефлексия, актуализировавшая идею *нового “общего” славянского литературного языка, понятного* всем славянам, получила наиболее последовательную реализацию в грамматическом труде Матии Маяра “Uzajemna Slovnica ali mluvnica Slavjanska” 1865 г. (далее -УП), в котором была предложена модель “*взаимнославянского*” языка. Последовательно развивая мысль о “*всеславянской*” языковой реализации, Маяр призывал славянских писателей “*писать взаимно*”: “Pisati uzajemno je prepoлезno, prekoristno i neobhodno potrebno” (7). Отвечая на вопрос “что значит писать взаимно”, Маяр объяснял, что писать “взаимно” значит писать на современных славянских литературных языках так, чтобы они постепенно сближались и уподоблялись друг другу для облегчения славянской коммуникации: “Pisati uzajemno se pravi: pisati v dosadajnih književnih jezikih pa tako, da se oni po malu bližaju i med seboj podobněji prihadjaju...na toliko, da književen Slavjan za potrebu razumi vsaku uzajemno spisanu slavjansku knjigu” (5).

Возможность формально-семантического сближения и уподобления славянских литературных языков была, по мнению Маяра, мотивирована историей славян, имевших в истоке единый церковнославянский (старославянский) язык, а также поддерживалась современным функциональным равенством сложившихся национальных славянских литературных языков: “Slavjanski jezik se děli na jezik staroslavjanski i na sadajnu slavjanščinu“ (1). Свою собственную лингвистическую задачу Маяр видел лишь в том, чтобы создать *механизм*, облегчавший формально-семантическое сближение и уподобление языков. В этой связи основной проблемой для Маяра стала проблема снятия *формально-семантической* и *формальной дистанции* между славянскими литературными языками. Поскольку исторически мотивированным “общим” славянским литературным языком был церковнославянский (старославянский), Маяр избрал его в качестве формально-семантического и формального образца, по которому “сверялись” показатели национальных литературных языков - русского, сербохорватского, чешского и польского.

Формально-семантическую основу “взаимнославянского” языка Маяр создавал, ориентируясь на объем реализации и состав членов грамматических категорий церковнославянского языка. Так, грамматическая категория числа получала реализацию в трехчленной оппозиции “единственное число // двойственное число / множественное число” по образцу церковнославянского языка, несмотря на то, что в избранных Маяром славянских языках, в отличие от его родного словенского языка, сохранились лишь отдельные формы двойственного числа: “Číslo je trojno: jednotnik, množnik, dvojnik. Staroslavjanščina ima ves dvojnik... Ruščina ... ima dvojnik naj redčaješe, samo pri statnih i samo po čislih dva, oba... Serbščina ima dvojnik samo pri statnih... dvojnikove koncovke prečesto mesto množnikovih. Češčina sadajna ima vse pade dvojnikove samo pri nekterih statnih: ruka, noha, oko, ucho, koleno, ostala statna, pridavna i zaimena imaju navadno samo dva pada dvojnikova 3 i 7. Poljščina sadajna upotrebuje dvojnik i to ješče dosta često...” (86–87). Равным образом, по образцу церковнославянского языка грамматическая категория лица получила реализацию во всех спрягаемых формах, хотя в русском языке вне действия данной категории были формы прошедшего времени изъявительного наклонения и формы сослагательного наклонения: старославянский язык: хвалнѣ(и) быхъ, бы, вы, быхомъ, бисте, быша / русский язык: хвалил(и) бы / сербохорватский язык: хвалил (и) бих, би, би, бисмо, бисте, би / чешский язык: chvalil (i) bych, bys, by, bychom, byste, by / польский язык: chwalił(i) bym, byś, by, byśmy, byście, by → “взаимнославянский” язык: хваліл(і) біх, бі, бі, бісмо, бісте, бі.” (203–204).

При невозможности скоординировать грамматическую семантику церковнославянского (старославянского) языка и национальных славянских литературных языков Маяр выявлял формально-семантическую общность самих национальных языков. Так, полагая, что в церковнославянском (старославянском) языке не было оппозиции по признаку одушевленности // неодушевленности, Маяр выбрал минимальный объем реализации данной категории, нейтрализовавший различия славянских языков: нормой “взаимнославянского” языка явилась реализация одушевлен-

ности // неодушевленности только у имен мужского рода в грамматической позиции **В. ед.**. Увеличение объема реализации данной категории за счет грамматических позиций **Р. ед., Д.-П. ед., И. мн.** в чешском языке, **В. мн.** в русском языке, а также реализация грамматической категории лица в польском языке были недопустимы во “взаимнославянском” языке, поскольку это вело к *формально-семантической избыточности*: “Statna mužska životna dělaju v vsěh narečjih pad 4. jednotni jednak drugomu...neživotna jednak pervomu... Ruskopoljsko stavljane pada 2 město 4 se sovsěm protivi značaju i duhu jezika slavjanskoga “(110).

Формальное поле “взаимнославянского” языка составляли форманты, заданные церковнославянским (старославянским) языком, т.е. общие стандартные флексии, поддержанные языковой традицией: “one, koje su obične vsemu slavjanskomu narodu ali većej njegovoj straně” (12).

Соответственно, не получали доступа во “взаимнославянский” язык общие и локальные нестандартные форманты, порождающие *формальную избыточность*. Так, проводя отбор форм имен существительных мужского рода, Маяр не допускал общие нестандартные флексии, восходившие к праславянскому склонению на *у, которые, однако, он разделял на два формальных класса:

”Staroslavjanščina ima samo některi par statnih mužskih... kterih **Ъ** 1 pada stoji město izvirnoga **ОУ**... сынъ, -оу, -оу, -ъ, -оу, -оу, -омь... Koliko zaběgaš v jednotnik na оу, řědčeje, toliko pišeš pravilněje” (94, 96),

“Staroslavjanščina ima od prirastkove sklanja v jednotniku samo pad 3, množnik pa ves равови... равове, равовъ, равовомъ, равовы, равовѣхъ, равовы” ...Delaj pišuš uzajemno pad 2 množni v obče s prirastkom, vse ostale pade bez prirastka (pad 3 jeden. na У, pad 1 mn. na I” (96-97):

Р. ед.: старославянский язык: -**А**, -**ОУ** / русский язык: -А, -У / сербский язык: -А / чешский язык: -А, -U / польский язык: А, -U → “взаимнославянский” язык: -А,

П. ед.: старославянский язык: -**ѣ**, -**ОУ** / русский язык: **ѣ**-, -У / сербский язык: -У / чешский язык: -Ě, -U, (-OVI) / польский язык: -IE, -U → “взаимнославянский” язык: -**ѣ**,

Д. ед.: старославянский язык: -**ОУ**, -**ОВИ** / русский язык: -У / сербский язык: -У / чешский язык: -U, -**ОВI** / польский язык: -U, -**ОВI** → “взаимнославянский” язык: -У,

И. мн.: старославянский язык: -**И**, -**ОВЕ** / русский язык: -И, (-А) / хорватский язык: -И / чешский язык: -I, -**ОВЕ**, -У / польский язык: -I, -**ОВIЕ**, -У → “взаимнославянский” язык: **І**.

При отсутствии общего форманта Маяр рекомендовал употреблять на правах равных вариантов локальные стандартные форманты, что мотивировало определенную грамматическую синонимию: “spisovatelj si može svobodno izmed nju izbrati onu, koja se njegovomu narečju bolje prilaze ali obe”(110):

В. мн.: старославянский язык: -**Ы**, -**ОВЫ** / русский язык: -Ы, -**ОВЪ** / хорватский язык: -Е / чешский язык: -У / польский язык: -У, **ÓW** → “взаимнославянский” язык: **І**, -Е,

Т. мн.: старославянский язык: -**Ы**, -**ОВЫ** / русский язык: -АМИ / хорватский язык: -И / чешский язык: -У, -АМI / польский язык: -АМI → “взаимнославянский” язык: -**І**, -АМИ,

П. мн.: старославянский язык: -**ѦХЪ** / русский язык: -АХЪ / хорватский язык -**ИХ** / чешский язык: -ЕСН / польский язык: -АСН → “взаимнославянский” язык: -**ІХ**, -АХ (88-89).

Проведенное исследование позволило заключить, что лингвистическая рефлексия, направленная на создание *нового понятного “общего” славянского литературного языка*, носила *семантический, конвергентный, креативный* характер и реализовалась в “*зоне грамматических категорий и средств выражения*”: *понятность “взаимнославянского” языка достигалась Маяром посредством выбора грамматической семантики и средств выражения, общих для языков, в рамках которых мыслился моделируемый язык.*

В пятой главе “*Славянская лингвистическая рефлексия: культурно-языковое реплицирование во времени и пространстве*” представлено исследование лингвистической рефлексии как составляющей процесса *культурно-языкового реплицирования*, т.е. процесса активного реагирования лингвистических личностей на рефлексивные опыты друг друга. Рассмотрение лингвистической рефлексии в рам-

ках процесса культурно-языкового реплицирования мотивировано тем, что “гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях...за которыми стоят проявляющие себя... люди” (Бахтин). В зависимости от исторических условий, позволяющих или не позволяющих “встретиться” разным лингвистическим воззрениям во времени и пространстве, можно говорить о *реальном* и *потенциальном* культурно-языковом реплицировании. Лингвистический рефлексивный опыт, представленный как *культурно-языковая реплика*, требует исследования в диалогизованном контексте, задающем ретроспективу и перспективу мыслей о языке: мотивирующий рефлексивный опыт < данный рефлексивный опыт < мотивированный рефлексивный опыт. Подобную “цепочку” культурно-языкового реплицирования составили грамматики Смотрицкого, Крижанича и Маяра, что позволило выявить *сходства* и *различия* лингвистической рефлексии в конфессиональной и секулярной культуре.

В пространстве *конфессиональной* культуры, в рамках рефлексии над *церковнославянским языком*, грамматический трактат Крижанича явился *реальной культурно-языковой репликой* на грамматику Смотрицкого. Смотрицкий, опровергая утверждение Скарги, что “у славенского языка нет правил и грамматики”, составил “**Грамматѣки Славѣнскѣи правѣлноѣ Сѣнтагма**”, доказывая рациональность структуры “славенского” языка и возможность составления правил, подобных правилам греческого и латинского языков: как греческая и латинская грамматики служат “кѣ понѣтѣю ѣзыка чѣстости”, так и грамматика “Славѣнскѣа ѣ своемъ ѣзыцѣ Славѣнскомъ оѣчинѣти мѣжетъ” (ГС, л. 2). Соглашаясь признать лингвистическое усердие Смотрицкого, Крижанич отрицал концептуальные основы его грамматики, определявшей *правильность* “славенского” языка по подобию классических языков, и настаивал на независимой *правильности* “славенского” - книжного “русского” языка, мотивированной его *понятностью*: “Мелѣтнь Смотрицскѣи дѣлари ради своегѣо трѣдольѣѣа, и дѣа печѣалности, кѣѣ жѣст носѣи про ѣбщенѣ полѣзѣ, пѣшѣицѣ Грамматѣкѣ, достѣен жѣст пѣмѣти и вѣогѣнѣ хѣвали: и бѣи бѣ доспѣи вѣещи нарѣдѣѣ посѣбнѣнѣ, давѣи се нѣбѣи соблазнѣи по ѣбзѣрѣѣ на Грѣцкѣиѣ прѣвѣдѣи: и давѣи

небна захотѣла нашего языка на Греческиѣ и на Латинскиѣ ѳзѳри претварѣат. Всакиѣ бо языкъ имаѣет своѣ властита правила, разниѣта отъ ѳнихъ: и неможѣтсе по ѳного языка ѳзѳорехъ илиѣти правнлехъ исправляѣт. Ови ѳбо всиѣ причини ја вногѳкратъ размышляѣѳщи и просѳдѣаѳщи, ѳѳже давниѣе отъ двадѣсѣти лѣт, начаѣ ѣсемъ дѳматъ и трѳдѣтсе въ языкъ исправлѣнѣѳъ“ (ГИ, IV - V).

Поскольку основу претензий Крижанича к Смотрицкому определяла ориентация норм церковнославянского языка на греческий, существенные “исправления” пришлись на синтаксическую сферу. Так, для выражения целевых значений Смотрицкий предложил как норму конструкцию “еже+инфинитив”, которая лишь иногда могла заменяться конструкцией с независимым инфинитивом или глагольно-личной конструкцией “да+конъюнктив”. Крижанич подверг критике предложенную вариативность средств выражения и рекомендовал конструкции “да+конъюнктив” и “да+индикатив”:

Грамматика Смотрицкого 1619г.	Грамматика Крижанича 1666 г.
<p>“Многажды Неопредѣленный полагаѣтса вмѣстѣ Починителнаго, приѣмъ Гѳбѳзъ, ѳже, или/ во еже: ѳакъ, Лицеже Гѳдне натворѣщыа зѣла, ѳже потребити Ѱземля пѣмѣть нѣхъ</p> <p>Иногдаже и рѣрѣшаѣтса въ Починителѣ: ѳакъ, держахѣ ѣгѳ ѳже не штити Ѱниѣхъ: Греческомѣ бо сице сѣщѣ катѣѣхѳн аѳтѳѳн тоѳ ѣѳ порѣбѣсѳаѣ алъ аѳтѳѳн ...Мы превѳдимъ,</p> <p>держахѣ ѣгѳ да небы Ѱшѣлѣ Ѱниѣ</p>	<p>“...когда се знаменѣет причина... Греки кладѣт Неокончѣльникъ пѳдет, сѣ привѣржкомъ тѣ (того)... Намъ пакъ въ сицевѣхъ мѣстѣхъ право стоѣитъ споѣнѣа Дѣ. Лице господнѣе на творѣщѣа зѣла: еже потребити отъ земля пѣмѣтъ ѣнѣхъ. Реци, Лице пакъ господнѣе на творѣщѣхъ зло: да потребитъ отъ земля пѣметъ ѣнѣхъ.</p> <p>Онъ (Смотрицкий) же во добро велѣт: еже гѣи ѣ Грековъ стоѣитъ Неокончѣльникъ ѣдѣн, тѣмо ѣ насъ липлѣе стоѣитъ Да. Ј держахѣ его: еже не отѣти отъ нѣхъ. Реци, Ј держахѣ ѣго: да небы отишѣл отъ нѣхъ.</p>
<p>Нѣсть ѣбѣче Ѱрицѣтелно въ нѣкоѣхъ мѣстѣхъ сохрѣнено ѳже,.. ѣбѣдѣ ѳтарь твоѣ Гѣи/ ѳже оѳслышати ми гласъ хѣвалы твоѣа” (ГС, л. 220)</p>	<p>Невиѣмо пакъ, зѣчто Смотрицкий въ сицевѣхъ мѣстѣхъ велѣтъ прибѣвляѣтъ Жеѣ: и говоритъ, ѳже ѣслишати ми гласъ” (ГИ, 182-183).</p>

Диагностической зоной, релевантной для выявления различий лингвистических установок Смотрицкого и Крижанича, явилась и “зона средств выражения”, задававшая проблему *формальной избыточности* церковнославянского языка: идея *правильности* языка, которой придерживался Смотрицкий, требовала сложной языковой структуры и, следовательно, сохранения и дифференциации грамматических синонимов, тогда как идея *правильности и понятности* языка, предложенная Крижаничем, наоборот, предполагала простоту языковой структуры и, следовательно, снятие грамматических синонимов. Так, например, у имен существительных мужского рода в максимально нагруженной грамматической позиции **И. мн.** Смотрицкий кодифицировал стандартную и нестандартные флексии, а Крижанич признал правильной только стандартную флексию:

Грамматика Смотрицкого 1619 г.	Грамматика Крижанича 1666 г.
<p>И. мн.: (t) -И // -Ѣ “Римляне”, Ы + ѠѢѢ “изрѣчѣше ѣдиносложнаа растворѣтиса мощи... сны или сновѣ”, (t') -ІѢ + -Ѣ “пастыриѣ или пастыре”, -Ѣ “ходотаѣ”, -ІѢ + -Ѣ + -ѢѢѢ “имена/ ѣдиносложнаа изрѣчѣше, растворѣма быти ѡбрѣтаемъ... врачѣе, врачѣ, или врачѣе” (ГС, л.50 - 72 об.).</p>	<p>И. мн. м.: -И, -ѠѢѢ / -ѢѢѢ, -ІѢ, -Ѣ → -И “А по извѣткѣ, и по при- простом изрѣкѣ, двоескладни именникі преминаѣѣтсе на ѠѢѢ и на ѢѢѢ... Ѣиновѣ... врачѣе... А дниже кончини, на ІѢ и на Ѣ, десѣт згола сказни и мѣрзки... Пастѣрѣе ... А дошце горѣ ...Ѣвидѣтеле... Право се вѣдѣт... Пастѣри ... Ѣвидѣтели...” (ГИ, 10-11).</p>

Некоторое *сходство* позиций Смотрицкого и Крижанича наблюдалось при решении проблемы *формальной недостаточности* церковнославянского языка: оба грамматиста стремились снять омонимию, что отражало установку конфессиональной культуры на достижение “прозрачности” богодухновенных текстов. Однако способы решения проблемы и последовательность применения избранных способов не совпадали. Смотрицкий рекомендовал орфографический способ снятия омонимии, построенный на оппозиции дублетных букв и надстрочных знаков, и грамматический, задавав-

ший на правах вариантов наряду с омонимичными флексиями неомонимичные. Крижанич отвергал ориентированный на греческое письмо орфографический способ и выступал за последовательное применение грамматического способа снятия омонимии, что выразилось, например, в критике формальных показателей **Р. ед м.:**

Грамматика Смотрицкого 1619 г.	Грамматика Крижанича 1666 г.
(И. ед. =// Р. мн.) “клеврѣтъ, воинъ, ходотай, мравий, зной, крагѣй, любодѣй..., пророкъ // прорѣкъ”	“ <i>Смотрицкнъ</i> чинитъ сѣь прѣгнѣи <i>зменникѣ</i> јединичномѣ сподобен: от Пророкъ, от воинъ, от клеврѣтъ, от ходотай, мравий, зной, крагѣй, льубодѣй.
сѣь // сѣинъ или сѣинѣвъ, врачъ // врачъ или врачѣвъ.” (ГС, л. 43-69).	А от нѣкоихъ чинитъ двѣ кончини: От сѣин, и сѣинѣвъ, От врач, и врачѣвъ... Всѣя јмена ...липо и правило се творѣтъ на ОВ , и на ѢВ .” (ГИ, 13-14).

При решении проблемы формальной недостаточности Крижанич в большей степени сближался с книжниками, работавшими в Москве: с книжниками, исправлявшими грамматику Смотрицкого, и с книжниками, проводившими книжную справу. Так, например, единство взглядов демонстрируют составленные в одно и то же время комментарии Симеона Полоцкого и Юрия Крижанича, направленные на снятие омонимии в псалтырном тексте. Симеон Полоцкий, отвечая на критику старообрядцев, протестующих против замены в грамматической позиции **В. мн. м.** формы “тельца” на форму “тельцы” в заключительном стихе 50 псалма, мотивировал эту замену снятием омонимии: “**Бѣи** ѣбо падежъ внимительный множественный кончащійся на **ЦА** пенскѣснѣи писателѣе измѣниша на **ЦА**, и тако сотвориша внимительный падежъ единственнаго числа” (л.146). Равным образом, Крижанич не допускал форму **В. мн. м.** “тельца” в 50 псалме, поскольку она порождала омонимию **Р. (В. для одуш.) ед. м.= В. мн. м.:** “Мѣрзко и блѣдно се чтѣтъ въ нѣкоихъ мѣстѣхъ постављено **ЈА** или **А**... Возложатъ на олтаръ твоѣъ тельца, пс.50. Всѣ поправи сице: Возложѣтъ на олтаръ твоѣъ тельци или тельце” (ГИ, 12).

Несмотря на принципиальные различия во взглядах на церковнославянский язык, характерных для “греко-славянского” и “латино-славянского” пространств, московские книжники интересовались лингвистическими изысканиями Крижанича, о чем свидетельствуют списки его лингвистических трудов в авторитетных книжных собраниях. Так, например, список грамматического трактата хранился в библиотеке Никифора Симеонова, участвовавшего в никоновской и иоакимовской спорах, а список орфографического трактата был найден в библиотеке тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, принимавшего участие в петровской книжной споре. Однако принято считать, что “открытие” Крижанича состоялось только после публикаций его сочинений в XIX веке, в контексте панславизма. Приверженцы разных лингвистических концепций были едины в оценке Крижанича как “пророка и отца панславизма”: с одной стороны, создав грамматику “русского” языка Крижанич “разглядел в тумане отдаления выступающий образ России и великое призвание ее в среде славян” (Будилович), а с другой стороны, сопоставляя данные “русского” языка с данными других славянских языков, Крижанич “впервые применил сравнительный метод” (Бессонов). Поиск панславистами своих исторических корней не позволил, к сожалению, адекватно понять сходства и различия лингвистической рефлексии конфессиональной и секулярной культуры. Некоторое разрешение данной проблемы возможно в рамках процесса культурно-языкового реплицирования, поскольку *потенциальной культурно-языковой репликой* на грамматику Крижанича, реализовавшейся в *секулярной* культуре, может рассматриваться грамматика Маяра.

Определенное *сходство* лингвистической рефлексии Крижанича и Маяра было мотивировано установкой на *понятность* “общего” литературного языка славян, которая достигалась посредством выбора грамматической семантики, общей для языков, в координатах которых реализовалась рефлексия. Сходство теоретических установок поддерживалось некоторым пересечением и самого языкового материала, поскольку оба грамматиста “работали” с

церковнославянским языком. Диагностической зоной, релевантной для выявления сходства лингвистической рефлексии Крижанича и Маяра, является “зона грамматических категорий и средств выражения”. Так, например, в книжном “русском” языке Крижанича и во “взаимославянском” языке Маяра нормативной реализацией грамматической категории одушевленности // неодушевленности признавалась реализация только у имен мужского рода в грамматической позиции **В. ед.**: поскольку избранные кодификаторами славянские языки получали общее формальное выражение одушевленности // неодушевленности только у имен мужского рода в грамматической позиции **В. ед.**, расширение объема реализации данной категории за счет грамматических позиций **Р. ед.**, **Д.-П. ед.**, **И. мн.**, **В. мн.** у имен мужского рода и за счет грамматической позиции **В. мн.** у имен женского и среднего рода, а также реализация грамматической категории лица были недопустимы.

Грамматика Крижанича 1666 г.	Грамматика Маяра 1865 г.
“От ѡменъ знаменѣщихъ Дѣшатиѣ ѡнати Живѣщиѣ вѣщи, крознѣкъ ѡдетъ на А. Хвалѣте господа. А отъ знаменѣщихъ Недѣшатиѣ вѣщи, крознѣкъ се творитъ једнакъ ѡменнѣкъ. крозъ градъ” (ГИ, 7).	“Statna mužska životna dělaju v vsěh narečjih pad. 4 jednotni jednak drugomu, neživotna jednak prvomu” (УП, 110)

Различие рефлексивных опытов Крижанича и Маяра определяла цель лингвистической рефлексии, которая проявилась в механизме лингвистической “работы”: если Крижанич *исправлял* реально функционировавший церковнославянский язык, понимаемый им как традиционный “общий” славянский *литургический* и *литературный* язык, призванный служить возвращению славян к единству по вере, то Маяр *создавал* новый “общий” славянский *литературный* язык, синтезируя церковнославянский язык и национальные славянские литературные языки, для облегчения славянской коммуникации. Диагностической зоной, релевантной для выявления различий лингвистической рефлексии Крижанича и Маяра, является “зона

средств выражения”: если Крижанич, исправляя книжный “русский” язык, рекомендовал вместо “русской” формы хорватскую только при невозможности достичь “прозрачности” языка средствами самого “русского” языка, то Маяр, создавая “взаимославянский” язык, признавал функционально равными локальные стандартные форманты, что порождало определенную грамматическую синонимию. Так, например, у существительных мужского рода в грамматической позиции **В. мн.** Крижанич рекомендовал в целях снятия омонимии флексию **-Ѣ** хорватского языка вместо “русской” флексии **-И**, тогда как Маяр принципиально кодифицировал во “взаимославянском” языке обе флексии:

Грамматика Крижанича 1666 г.	Грамматика Маяра 1865 г.
<p>В. мн.: - И (или -Ѣ)</p> <p>“Сѣь прегнѣ по Хервѣтскѣ изхѣдѣт на Ѣ... Ј сице лѣпо се разлѣчѣет крознѣк от Јменнѣка... негодѣтсе писателѣь сѣидѣт Хервѣтского окончѣнѣя вѣдѣщ оно далекѣ отмѣнно от Рѣского доброго но ѣживѣт јест Рѣского обѣчного окончѣнѣя ако нѣвѣдет скѣзно.” (ГИ, 11, 147)</p>	<p>В. мн.: церковнославянский (старославянский) язык: -Ы / русский язык: -Ы, -ОВЪ / хорватский язык: -Е / чешский язык: -У / польский язык: -У, ÓW → “взаимославянский” язык: И, -Е, (УП, 88)</p>

Проведенное исследование показало, что лингвистическая рефлексия Юрия Крижанича способствовала “встрече” разных вариантов конфессиональной культуры - “греко-славянского” и “латино-славянского”, а также разных типов культуры - конфессиональной и секулярной: *корректирующая* лингвистическая рефлексия Крижанича и Смотрицкого была противопоставлена *креативной* рефлексии Маяра, тогда как *семантический* характер объединял рефлексии Крижанича и Маяра и противопоставлял ее *формальной* рефлексии Смотрицкого. В таком контексте Крижанича вряд ли можно назвать “неудачником и мучеником своих благородных увлечений” (Ягич), а его лингвистические сочинения “недоразумением”, ибо “такого рода недоразумения суть едва ли не

обязательное условие разумения при встрече различных культур, если бы не было взгляда извне, которому все видится иначе, чем взгляду изнутри, не было бы и встречи” (Аверинцев).

В Заключении подводятся основные итоги исследования.

К основным результатам исследования относятся следующие:

1. предложена типологическая модель лингвистической рефлексии: структурный тип (формальный тип / семантический тип), функциональный тип (дивергентный тип / конвергентный тип), телеологический тип (корректирующий тип / креативный тип),

2. установлены языковые зоны, репрезентирующие разные типы структурной рефлексии: формальный тип - реализация в “зоне средств выражения”, семантический тип - реализация в “зоне грамматических категорий и средств выражения”,

3. осуществлено исследование представлений об “общем” славянском литературном языке как разных типов лингвистической рефлексии, явленных в конфессиональной и секулярной культуре: формальная, конвергентная, корректирующая рефлексия / формально-семантическая, конвергентная, корректирующая рефлексия → семантическая, конвергентная, креативная рефлексия,

4. рассмотрена динамика лингвистической рефлексии в рамках процесса культурно-языкового реплицирования: “Грамматіки Главѣнских правилое Свѣнтагма” Смотрицкого 1619 г. < “Грамматично изказаніе оу рѣскомъ језику” Крижанича 1666 г. < “Узаејмні правопіс славјанскі, то је Uzajemna Slovnica ali Mluvnica Slavjanska” Матиї Маяра 1865 г..

5. определены механизмы “порождения” и структурно-функциональный статус “русского” языка Юрия Крижанича и “взаимославянского” языка Матиї Маяра: Крижанич *исправлял* церковнославянский язык, т.е. *традиционный “общий” славянский литургический и литературный язык*, а Маяр *создавал* новый “общий” славянский литературный язык как гибридный язык.

Проведенное исследование показало, что явленная в конфессиональной и секулярной культуре рефлексия над “общим” славянским литературным языком не была периферийным прорывом в

прошлое, не нашедшим резонанса в своем времени, а наоборот, была доминантой тех эпох, когда “человеческий мир сближался не только в перспективе будущего, но и с точки зрения ретроспективного культурно-исторического анализа” (Сепир).

Содержание диссертации отражено в следующих печатных работах:

1. П.В. Постников - выпускник Славяно-греко-латинской академии (Некоторые материалы для биографии) // *Cyrrillomethodianum*. - Thessaloniki, 1988, № XII - С. 75-92.

2. Функционирование вариантов церковнославянского языка русского извода в конце XVII-XVIII вв. // Проблемы языкового варьирования и нормирования. / Материалы конференции молодых ученых. - М., 1988. - С. 21-25.

3. Поэтический язык в контексте русской языковой ситуации XVIII в.: кодекс поэтических вольностей // Семиотика культуры. - Архангельск, 1989. - С. 36-40.

4. История русского литературного языка. / Методическое пособие. - М., 1991, - 80 с.

5. Структурно-функциональный статус гибридных вариантов славянских литературных языков. // К XI Международному съезду славистов в Братиславе. Доклады по проблемам языкознания.- М., 1993. - С. 41-62.

6. Забытое имя: Петр Постников: из истории русской культуры конца XVII - начала XVIII в. (соавтор Страхова О.Б.) // *Palaeoslavica*. - 1993, -№ 1- С. 111-148.

7. Грамматические стереотипы гибридных вариантов славянских литературных языков. // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. -М., - 1995. С. 34-38.

8. “Общеславянский” литературный язык: модели Ю. Крижанича (XVII в.) и М. Маяра (XIX в.). // *Славяноведение*. - М., 1996, -№ 1.- С. 83-94.

9. Структурно-функциональный статус гибридных вариантов славянских литературных языков. // Научные доклады филологического факультета МГУ. -М., 1996, - № 1- С. 17-35.

10. Модели “общеславянского” литературного языка XVII - XIX вв. // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов: Доклады российской делегации / Отд-ние лит. и яз. РАН. -М., 1998. - С. 267-295.

11. Гибридный вариант литературного языка: Слово изреченное и слово сочиненное. // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Материалы к коллективному исследованию. - М., 1999. - С. 50-53.

12. “Простой” русский литературный язык XVI-XVIII вв (структурно-функциональный статус). // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. -М., 1999, - № 4- С. 118-128.

13. Грамматика общеславянского литературного языка XVII века: к проблеме интерлингвальной гибридности. // *Plurilinguismo letterario in Ucraina, Polonia e Russia tra XVI e XVIII secolo*. Roma, 1999. - С. 143-151.

14. “Простой” русский язык в библейских текстах XVII века // Роль библейских переводов в развитии литературных языков и культуры славян./ Материалы международной конференции. - М., 1999. - С. 27-30.

15. “Простой” язык Библии Ф. Скорины и Псалтыри А. Фирсова: реконструкция механизма грамматического подобия. // Эволюция грамматической мысли славян XIV-XVIII в. Сборник. - М., 1999. - С. 109-130.

16. “История Российская” В.Н. Татищева: грамматическая дистанция между “древним наречием” и “новым наречием”. // Эволюция грамматической мысли славян XIV-XVIII в. Сборник. - М., 1999. - С. 131-139.

17. Книжная справа в Московской Руси XVII в. // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. -М., 2000, -№ 3- С. 162-167.

18. Книжная справа XVII века: проблема культурно-языкового реплицирования. // Международная конференция “Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: миграция слов, выражений, идей” (Будапешт, 5-7 апреля 2000 г.). Доклады. - Budapest, 2000. - P. 305-314.

19. К проблеме языковой рефлексии XVIII века. // Славянский альманах 2000. Сборник. - М., 2001. - С. 439-452.

20. Проблема трансляции//элиминации культурно доминирующего литературного языка. // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве. Сборник научных статей к 80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой. -М., 2001. - С. 59-79.

21. Грамматика и теология: проблема библейского антропонимического пространства. // Славяноведение. - М., 2001, -№ 1- С. 27-30.

22. Восточные славяне в XVII-XVIII веках: этническое развитие и культурное взаимодействие. // Славяноведение. -М., 2002, - № 2- С. 27-30.

23. Библейское антропонимическое пространство в славянских грамматических трактатах XIV-XVII вв. // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. -М., 2001. Ч. 1. С. 114-116.

24. “Общеславянский” язык как лингвистическая утопия. // Утопия и утопическое в славянском мире. -М., 2002. - С. 21-34 .

25. Культурно-языковой статус личности и текста в Петровскую эпоху (опыт прогнозирующего анализа) // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002. - С. 422-447.

26. “Общий” славянский литературный язык (XVII -XIX вв.): типология лингвистической рефлексии. (12 а. л. - В печати).

Подписано в печать 21.01.2003 г.
Формат 60x84/16. Заказ № 29 Тираж 100 экз. Лл. 3
Отпечатано в РИИС ФИАН с оригинал-макета заказчика.
119991, Москва, Ленинский проспект, 53. Тел. 132 51 28